

Как и человек, язык живет общением с себе подобными. Более полувека Наталья Леонидовна Трауберг переводит с английского, испанского, итальянского, португальского и французского. Именно благодаря ей, в самые «закупоренные» советские годы русский язык оставался открыт для Честертона и Вудхауза, Грэма Грина и Льюиса, Пиранделло и Лорки. Филолог и переводчица, свой труд она воспринимает как нечто большее, чем просто словесность. Служа родной речи, она служит Богу.

Саша КАННОНЕ

Вначале было слово



— Литературный перевод подразумевает отказ от своего «я», максимальную идентификацию себя с другим человеком. Получается, что это христианская профессия?

— Ничего более христианского быть не может. Ты полностью подчинен материалу, с которым работаешь.

— Переводить легче то, что ближе, или наоборот, когда в работе участвует не сердце, а голова?

— Перевод — это монашеское дело. Голова и сердце участвуют наравне. Но я вообще переводчик неправильный. Я больше сердцем.

— Как вы выбираете материал?

— Раньше я переводила, кого закажут, если только это не непристойная, не антицерковная и не явственно просоветская литература. Сейчас это Честертон и Вудхауз. Кого я люблю больше жизни, тех и перевожу.

— В основном вы имеете дело с христианскими авторами. Христианская литература — это написанное христианином, или христианином прочитанное?

— Можно читать Евангелие и не понимать, о чем речь, а обыкновенную языческую сказку воспринимать как христианскую.



Главное — что ты хочешь увидеть. К примеру, у Карло Коллоди Фея — ангел, и вся история Пинокио — это история Преображения деревяного мальчика. Потому что автор это имел в виду, и ничего тут не попишешь. Но так можно было бы прочитать и Буратино, если бы кто-то помог.

— Из русских писателей кто более христианин: язычник Платонов или сын священника Мамин-Сибиряк?

— Я не люблю Платонова. Платонова любяют те, кого трогает его немислимый дар. Для меня он страшноват. То, о чем он пишет, я в детстве все это видела. У меня в душе это есть, и я туда не обращаюсь. Но я вообще литературу не очень люблю, и это не парадокс. Я не слишком активно в ней участвую, не могу в ней подпитывать чувства и понимать через нее жизнь. Я любила Мандельштама и Ахматову, и сейчас, наверное, люблю, хотя они уже не так важны. Поздно узнала Плато-



Леонид Трауберг говорил: «Моя хорошенькая дочечка будет самая гениальнейшая»

нова и не любила, а, может, не любила бы вообще. Что для кого-то он мог быть зрзацем какого-то христианства — это возможно. Человек он благородный, чистый, очень трогательный, и я верю, что в нем можно найти аналог христианской любви. Речь же вообще не о том, что одни христиане показывают что-то хорошее. Несомненно, в его поколении было что-то светлое. Но та мясорубка не могла не пробить души. Думаю, что мало кому довелось спастись, выжить здесь, не будучи глубоко сумасшедшим. Мне было легче. Я все-таки долго жила в Прибалтике, лет двадцать почти. Но там и тогда нормальный человек сохраниться не мог. Нормальных людей я не видела. Ну, может быть, один Александр Мень из родившихся тогда казался мне нормальным. Есть много хороших людей, но это не значит нормальных. И это большая потеря. Как прокаженное время. Если огромной ценой ты сохранял попытку милости и жалости, то, наблюдая, что происходит, ты каждую минуту лишался трех ног, четырех рук, пятнадцати голов. Наш режим, как и нацистский, в отношении духа исключительно,

чрезвычайно губителен. Сохраниться там можно было только чудом.

— В Германии было так же?

— То же самое. Но там было короче по времени. Потому что все, что они делали, они делали аккуратнее и строже, а у нас все было из одних дыр. Я двадцать лет выпускала самиздат, и меня никто не посадил. А рядом какой-нибудь мальчик рассказывал анекдот, и его сажали. Я жила в Литве, и туда не доходили какие-то разнарядки. Потом я вернулась в Москву, и режим пал. Богу почему-то захотелось меня сохранить, хотя ни мой муж не сохранился от этого, ни мой отец. Муж был диссидентом, очень много страдал уже после того, как мы разошлись. Но когда к нам приходили и его таскали, меня не замечали, хотя с точки зрения режима я была хуже, потому что выпускала конкретный самиздат, а он нет. Так что у нас, слава Богу, не Германия, хоть это не меняет самого духа. Дело же не в том, что они гнали людей. Они гнали все. Для них Милость и Правда — главные категории Писания — были врагами.

— Категория правды при Советах была очень важна. Газета центральная у нас так называлась.

— Да, но с меня лично ее не спрашивали, чтобы я пошла и обличила какого-нибудь космополита или поддержала ввод войск в Чехословакию. А вот насчет Милости с меня спрашивали каждую секунду. Они целенаправленно каждую секунду жизни боролись с возможностью Милости. Это так, поверьте. От трамвая до чего хотите. Когда с маленькими детьми я гуляла здесь, а не в Литве, мне говорили: «Что ж ты, мамаша, у твоего машинку-то отняли, так ты его учи, а то забьют». Это было в идеальные пятидесятые годы, а не в теперешнее распутное время. Вот такое говорили, потому что привыкли, что никого не надо жалеть. Слово жалость считалось унижительным, и это осталось очень надолго. Потом это умножилось, дойдя до вседозволенности. Я так пылко говорю, потому что я очень боюсь ностальгии по тем временам.

— Но ведь Царствия Божьего — его нам никто и не сулил в этом мире. В любви режиме своя Милость и свой Ужас...

— Я совсем не говорю, что моя ровесница-девочка не могла быть просто счастливой. Она могла. А что сейчас мир хуже, вот тут я с вами не соглашусь. Сейчас просто мир плоти, но я считаю, что тогда вот это самое дьявольское начало было сильней. Хватает его у нас внутри, и очень страшно, когда его прибавляют еще и снаружи. Я это знаю, потому что в самую счастливую свою пору — в первые годы брака, когда росли дети, в Литве, где было легче, у меня в сердце был нож. Всегда. А сейчас нет, давно уже. Сейчас нет режима вообще. Это смех один — что его называют даже авторитарным режимом.

— Само по себе уничтожение режима — это колоссальный шок.

— Но ведь нельзя было уже эту ногу оставлять. Она вся сгнила. Я плохо себе представляю такую чистую душу, которую бы держала только эта бумажка в виде 10 заповедей коммунизма. Ну, положим, что держала, хотя все воровали направо и налево, все в очереди выталкивали направо и налево.

— Воровали, хотя бы таясь, а сейчас...

— Сейчас не милости стало больше — правды. Сегодня действительно меньше лицемерия. Но, как распутство, так и воровство, — вещи не бесовские, но мирские. А брать палку и убивать человека за то, что он другой, — это бесовский вид зла, и для меня он более страшен.

— Итак, главное отличие нашего времени от советского — это правда.

— Назовем это правдой, хотя это очень низкий вид правды, дурной. Скорее, беззастенчивость. Это другой мираж, и он еще чем-то сменится. Я только это и знаю, потому что я очень старая, а старости Бог дает гораздо больше, чем молодости. Если Ему нужно, чтобы я обличала вот это, то я и обличаю. Я была поставлена страдать и свидетельствовать об этом. Наш режим — он не намного лучше. Но он не насаждается. Если ты не включаешься в него — тебя не заставят. Сейчас нет тоталитарного строя, при котором, пока тебе сердце и мозг не вскопают и не испортят, не успокоятся.

— Вернемся к литературе. Кого вы любите из современных авторов?

— Об этом я мало что скажу — или полужится, что я ругаю.

— Я слышала, вы не можете себя заставить читать Пелевина и Сорокина. Что, так плохо?

— Пелевина могу. Некоторые его куски хороши. А вообще он разный, потому что талант его разный. Про кошку его рассказ меня убил просто наповал, про постмодернистскую какую-то барышню — очень смешно. Но целиком, допустим, «Чапаев и Пустота» — режьте меня, читать не буду. Что касается Сорокина, он, конечно, очень талантлив. Но его сцена, где Ахматова сносит яйцо... Эти противные подробности о женщине, которую мы так жалели, о которой молились... Самозванка она, не самозванка, но она чистый человек, выдержавший с благородством в этой страшной жизни. Мне предлагали: «Послушайте, как здорово!» И хотя предлагал человек, которого я очень люблю, — я не могу.

— А, может, и не надо? Может, существует некий предел развития, за которым больших писателей просто нет?

— Этого я не знаю. Я, вообще, как Моисей, с поднятыми руками стою, чтоб все было хорошо, чтобы что-то побеждало. Хочется, чтобы еще был хоть один.

— Для меня такой предел есть: Владимир Набоков. Русский американец, постмодернистский модернист, он в буквальном смысле рубеж языков, культур, стилей. За ним — пустота, как за Чапаевым.

— Вы можете читать его «Аду»?

— Не только могу — люблю.

— А мне близка точка зрения простоватого человека, как моя нянечка. Мне муж когда-то сказал: «Тебе нравится только то, что понравилось бы ей, если бы она окончила институт». Это правда. Она меня запрограммировала, вложила в меня все. Все, что есть во мне еще человеческого, — от нее. И еще от бабушки, которая была классной дамой, преподавала русскую литературу в женской гимназии и не понимала Мопассана.

— Я слышала, что вы крестились в шесть лет и сделали это вполне осознанно. Вы действительно уверовали или просто подчинились взрослым?

— Крестили меня сразу. В шесть лет я поверила в Бога. До этого я была совершенно не такая благочестивая, хотя мои няня и бабушка были глубоко верующими людьми, а я их любила невероятно. Но потом, после дикой встряски, вдруг поняла: «Ну все, я без Него не живу». В 1932 году папа устроил нас по благу в санаторий для иностранных спеццов в Сестрорецке. Нас поселили в каком-то маленьком домике. И как-то раз к нам пришел человек чекистской внешности и стал кричать. Я в первый раз слышала, чтобы на нас кричали. Не на кого-то, не на улице — на нас, которые тихо сидят, не толкаются! И я заболела. Я плакала, просыпалась ночью, и в конце концов меня увезли в Ольгино к знакомой. У нее в саду росли розы, в доме висели картины — Дева Мария, какие-то протестантские сюжеты, иконы. Все это меня изменило, и уже сквозь это я совершенно сознательно обратилась.

— Ваш отец Леонид Трауберг был режиссером с мировым именем. Вы вообще не касались этого мира?

— Мягко сказать, не касалась. Я его страшно боялась.

— Почему?

— Сейчас я буду нарушать Пятую заповедь, но я говорю не о своем отце, а о духе. Я очень люблю папу, безумно любила маму — речь не о них, а о том, в чем они жили. Это была абсолютно такая же степень вседозволенности, как сейчас. Вот клянусь вам чем угодно. Их спасением, которое я видела. Они умирали на моих руках: папа — обратившийся и крестившийся старый еврей, мама — вернувшаяся к соборованию христианка. Речь не о том, какие они плохие, а о том, что Бог их тащил через это. В смысле распутства и цинизма их поколение творило ровно то же самое, что и нынешнее. Особенно мужчины.

Женщины в этом меньше участвовали, а мужчины — это нечто неудовоимое.

— **И вы в кино вообще не ходили?**

— Не ходила. Бабушка меня не водила.

— **А папа как на это смотрел? Или ему было ни до чего?**

— Папа был безумный еврейский отец: «У—у, моя хорошенькая дочечка будет самая гениальненькая!» И больше его ничего не интересовало. Он все время куда-то убегал. А мама была дамой. Ей надо было блистать. Она тоже забегала (уже в другой манере, питерски-светской), сверкала передо мной и исчезала. Я оставалась с бабушкой и нянечкой...

— **...И уж они...**

— И уж они меня не водили. Однажды меня взяли на фильм про физкультурный парад. Я стала плакать. Для меня это было все равно, что смотреть фильмы Ленни Рифеншталь. Я не могла видеть эти голые могучие тела, их боялась. Еще помню, как папа приехал на дачу и стал мне петь песни тех лет. Сейчас они кажутся мне неплохими, иногда я их даже пою. Но тогда я вся сжималась. Я жила в каком-то мирке, где ходит Ксения Блаженная, гуляла у церкви, слушала рассказы о чудесах. Пошла я в школу, и ничего страшного не случилось. Мне было интересно, там учились очень милые ребята. Но, видимо, молитвами бабушки, дедушки и няни я стала так сильно болеть, что в четвертом классе меня забрали. Я не прижилась. Потом, в университете, у меня было другое искушение. Такого дикого тщеславия. Я была хорошей студенткой, много читала, школа меня не портила, и, конечно, я мечтала, что сейчас, как Золушка, я буду сверкать.

— **Вы работали дома или в редакции?**

— Никогда никуда никто не взял бы меня работать. Меня выгнали в 1950-м, через год после того, как я окончила университет. Я же была дочь космополита! Я знала, что никуда не устроюсь. Это было очень тяжело, совершенно кафкианские картины. В университете я училась у замечательных профессоров, мне хотелось самой что-то сделать. Ни фиги. Ни аспирантуры, ничего. Но это неважно. Бог дал мне возможность не работать, а иначе меня бы перемололи. Через некоторое время, когда в 1953 году из Ленинграда мы переехали в Москву, я стала переводить и печататься. Тогда легко молодых переводчиков брали, их было немного. А когда с 1988 года начались все эти свободы, было уже известно, что у меня горы всего переведено. Тем самым я моментально воссалась в какие-то учредения. Это произошло само собой.

— **Как получилось, что вы занялись самиздатом?**

— Я очень любила Честертон, его переводила. Мой муж (он тоже филолог) печатал 4 экземпляра, потом все это возили в Москву, и какое-то небольшое количество

людей, Муравьев, потом Аверинцев молодой, все это читали.

— **Как вы познакомились с Аверинцевым?**

— Через Роднянскую, Гальцеву и «Философскую энциклопедию». У Аверинцева была католическая тематика. Он очень чистое трогательное создание, но сам себя называл «зануда сапиенс». Он весь был как в чем-то стеганом — очень защищен.

— **Чем?**

— А вот этим! Я еще не знала никакого Аверинцева, а только дружила с его курсом, и мне рассказывали, что есть такой мальчик



Гилберт К. Честертон, английский писатель, пытался силой любви и интуиции постичь суть явлений

гениальный, который («Мы же с ним сдохнем скоро!») запрещает открывать форточку. Он неземной, конечно, но очень мог за себя постоять. Мы быстро подружались. Не подружались даже — были, скорее, собеседниками, но без близости, мягко выражаясь. Для него было важно, что он может про это говорить с кем-то, и его это вполне устраивало. При чем общались мы так. Он говорил 5 часов, мама-папа кричали, плакали, засылали моих детей — никакого впечатления! Они меня просили, чтобы я сказала ему, что у нас дома нельзя пользоваться телефоном, он ничего этого не знал. Но не от жестокости, а оттого, что он был вот в этом весь. Потом мама как-то к нему привыкла, хотя очень сердилась на него. Однажды в передней он стал ей читать свои стихи, и она потом говорит: «Нет, ты скажи, пожалуйста, нет, ты только объясни, он что, действительно считает, что мне доставляет удовольствие, когда я полтора часа стою и падаю, а он читает это вот?!» Но он думал, что ей интересно, и читал. Она была такая

дама питерская, и ему это нравилось. Он был кокетлив до невероятия, и кокетничал с ней трогательнейшим образом (но без успеха!). А папа его не выносил. Он был несопоставимо умнее и более образован, чем мама, но все-таки был такой «мальчишка» из одесской гимназии, такой непуганый одесский человек, и эти инфантильные создания были для него хуже евреев. И он мне сказал: «Знаешь, он еще хуже, чем ты!».

— **В 1930-е годы вера была под запретом. Сейчас, наоборот, православие стало если не государственной идеологией, то уж точно модой. По-вашему, это хорошо?**

— В мире что ни делается, все плохо. Бог дал нам свободу и дал возможность идти к Нему. Но само по себе это не избавляет от жесткости, жестокости, агрессивности. Когда к Богу стремишься, чтобы почувствовать, что ты выделен, или чтобы получить какой-то кусок или покой, или чтобы утверждать, что такие-то неправильно верят, а ты правильно, — ничего не будет. Ни Богу не будет, ни тебе.

— **А что это такое — «правильно»? Ходить в церковь и соблюдать обряды? Без этого нельзя?**

— Что касается меня, то я обязательно должна причащаться. Посредством причастия мы доказываем Христу, что принимаем с Ним новую договоренность. Я бы не выдержала, если бы это не повторяла. Но другие выдерживают, и не хуже они христиане, а значительно лучше. Не в смысле добрые (в христианстве это вообще не определяющая категория), а в смысле милостивые. Они прощают то, что простить невозможно, терпят то, что терпеть невозможно, но без этой встречи за столом Тайной вечери мне трудно. А вот моя дочь к причащению не ходит. Я знаю, что кому-то трудно посещать церковь. Мне, например, тоже было бы трудно, если бы я настолько не привыкла. Там бывают такие лица перекошенные, такая смесь дурного оккультизма с самоутверждением... Мне жалко этих теток, и это я не к тому, чтобы их судить. Мне их безумно жалко!

— **А вы так глазами по сторонам и зыркаете...**

— Я не зыркаю! Они же учатся у меня, звонят мне и говорят по пять часов по телефону! Чего тут зыркать-то! Если кто-то рядом со мной толкается, злится, я же не слепая!

— **Мне стыдно, когда я такие вещи замечаю.**

— Очень жаль, что вам стыдно, потому что Он от этого страдает. У себя на радио я в таких случаях говорю: «Ребята, я сегодня из храма — опять двадцать пять!»

— **Вы работаете на радио? На каком?**

— Это церковно-общественный канал. Я на нем уже 12 лет вот об этом примерно и говорю. Коэффициент полезного действия — 2 процента, но это очень много.

— В последнее время у нас активно обсуждают тему интеллигенции. Существует ли она сегодня и была ли вообще, какова степень ее влияния на общество, и что ждет ее впереди. Вы наблюдали несколько ее поколений. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не очень себе представляю, что такое интеллигент. Если считать, что критерием является умственный труд и небрежение материальными ценностями, тогда ни Михалков, ни многие другие интеллигентами не были. Моя бабушка была интеллигенткой, а дедушка, ее муж, не был и не претендовал. И при этом он был бессребреником, бескорыстным. Мой отец интеллигентом заведомо не был. То, что он окончил в Одессе гимназию, не значит, что он интеллигент. Папа был очень оборотистый человек, как и большинство советских людей. Лихачев интеллигентом был, Шишмарев был, Гукровский был, Аверинцев был. А они не были, не были, и все. Себя я интеллигентом тоже не считаю. Не то, что не считаю, — я все-таки не очень понимаю, что это такое, и уж точно никогда не стремилась в эту среду. Влияли они на меня? Да, влияли. Но на меня и не захочешь — повлияешь. А влияли на перемену жизни — не знаю. Я думаю, Бог влиял.

— То есть понятие «интеллигент» не равносильно «хороший человек».

— Если считать, что «интеллигент» несопоставимо прекраснее дяди Васи, который написал донос на соседа, чтобы занять его комнату, и читает, сколько арестовано шпионов, то да, равносильно. Но кто из них прав перед Богом, мы не знаем. Я так боюсь судить о том, кого допустили, что совершенно не понимаю, чем это вызвано. Соллертинский, Шо-стакевич — они были рядом, и я их видела. Но я понимала, что нянечка лучше даже их. Недавно одна писательница мне сказала: «Не говорите мне о таком-то, он не интеллигент». Для меня это непонятно. Она умная, тонкая, она, несомненно, мастер. Но для христианина этого просто не может быть. И тот же Вася будет для него родной брат. Не в тот момент, когда доносит, а в какой-нибудь другой.

— Да и в самый момент тоже: у него своя правда. Апостол Павел до обращения не только доносил, но и убивал.

— Дело не в этом. Павел был человеком, воспитанным в иудейском законе. На том уровне, на котором ведет себя религиозный человек — мусульманин, иудеист, кто угодно, — он вел себя хорошо. В это «хорошо» вполне входит нетерпимость: иноверцев убивают. Любого человек, я замечая, даже называющий себя православным или католиком, также считает, что чужому надо дать под зад коленом. Павел был человеком закона и действовал по нему. А вот христианам так нельзя.

— Но ведь и советская власть — это закон.

— Это карикатура бесовская на закон, как всякий тоталитарный и даже авторитарный строй. Конечно, полного беззакония в мире и не было. Потому что если бы оно вдруг наступило, то вообще не было бы спасения. Но даже самый хороший закон — исламский, иудейский, джентльменский, рыцарский — не работает, потому что в нем нет полной открытости перед Богом и нет уподобления ближнему. Что же касается советского закона, он стоял на беспрецедентной массовой жестокости. Человек — ничто. Причем не в смысле



Романы английского писателя Греты Грин были очень популярны в СССР благодаря переводам Натальи Трауберг

расстрела, а в смысле просто толкнуть. В смысле взять за шкуру и сказать: «Ты чужой, и с тобой можно сделать, что угодно».

— Если советское время — бесовское, то какое наше? В нем тоже немало жестокости.

— Ну, мы вообще живем во зле, и правит нами Князь мира сего. Несомненно, Бог создал благой мир и сказал: «Хорошо весьма». Несомненно, мы сломали винт и испортили себя эгоизмом. Тогда этот князь получил возможность править миром. Всегда — в царской России, викторианской Англии, где хотите — можно описать мир как ад. И многие так делали, но были лишь наполовину правы. В основном, приняты Его правила, но они скорректированы. Закон — это попытка наложить какой-то настил в этом Царстве, «не убий» — помостик, на который можно хоть как-то опереться. Если убрать закон, как эти шестидесятилетние дети попытались сделать, то мир проваливается немедленно.

— Что за дети?

— Хиппи. Они думали, что они апостолы, но без запретов они провалились ровно туда, откуда на них радостно смотрел Князь и говорил: «Ну, сейчас, детки!» Потому что человек, получающий свободу только для себя, через год становится в лучшем случае захребетником, который всех, кроме своих, не считает людьми, а в худшем случае тяжело больным и кончающим с собой. Это же не Бог его к этому привел. Мир болен. Божий мир испорчен нашим поворотом на себя. Исправить его такими штуками простыми, вроде, «Гуляй, Вася! Мы хиппи, мы дети цветов!», — нереально. И дети у нас такие, и цветы. Но делать обратное — взять и всех загнать в какой-нибудь условный рай, мне до сих пор кажется, что это хуже. Моя молодость пришлась не на хиппи, а на нацизм и большевизм. И мне вполне хватило.

— Как-то на вопрос, нравится ли вам русская история, вы ответили, что не нравится никакая. Вы действительно так считаете?

— Тогда я не договорила. Ужасно действие Князя мира сего, ну, что ж в этом хорошего! Другое дело, что вся история пронизана чудом. На моих глазах посыпалась Советская власть. В 1980-х годах мир стоял на краю даже не уничтожения, а чего-то еще большего. Когда в 1983 году я вдруг поняла, что схожу с ума, я поехала к кардиналу Сладкявичусу (тайному кардиналу: ему не разрешали быть священником) и просила его об экзорцизме (изгнании духов). Что я тогда умирала — это смешно сказать. Хуже чем умирала. Я заболела тяжелейшим панкреатитом. Я действительно сходила с ума. Спасалась молитвой, напряженной до невозможности: «Помоги, Господи! Что творится с миром! Господи, останови!» И вся Литва так делала. Но он мне сказал: «Какой экзорцизм! Это правильный ответ, адекватный. Идет страшная демонизация, но она кончается. То, что сейчас происходит, — это максимум, что может случиться». Он это сказал осенью 1983 года, когда не было никакой надежды на конец. Всякие октябратские отряды, всякий коллективизм противен, а когда его под христианство подверстывают, дважды противен. Но то, что происходило у нас, это был настоящий бесовский режим. Я жила там и могу свидетельствовать. Именно свидетельствовать, а свидетель — это ведь мученик. Я не особенный мученик, я все-таки не погибла тогда. Те, кто воспитывал меня, решили любой ценой меня от этого мира оградить. Я не смогла учиться в школе, стала болеть — меня забрали. Но зато они воспитали человека, который может свидетельствовать. И если это будет глас вопиющего с пустыни — пожалуйста! Все, что мы говорим, — в какой-то мере, глас вопиющего.